

Александр Куприн

# Ночная смена



# Александр Иванович Куприн

## Ночная смена

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2472605](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2472605)*

### **Аннотация**

«В казарме восьмой роты давно окончили вечернюю перекличку и пропели молитву. Уже одиннадцатый час в начале, но люди не спешат раздеваться. Завтра воскресенье, а в воскресенье все, кроме должностных, встают часом позже...»

# Александр Иванович Куприн Ночная смена

В казарме восьмой роты давно окончили вечернюю переключку и пропели молитву. Уже одиннадцатый час в начале, но люди не спешат раздеваться. Завтра воскресенье, а в воскресенье все, кроме должностных, встают часом позже.

Дневальный – Лука Меркулов – только что «заступил на смену». До двух часов пополуночи он должен не спать, ходить по казарме в шинели, в шапке и со штыком на боку и следить за порядком: за тем, чтобы не было покраж, чтобы люди не выбегали на двор раздетыми, чтобы в помещение не проникали посторонние лица. В случае посещения начальства он обязан рапортовать о благополучии и о всем происшедшем.

Меркулов дневалит не в очередь, а в наказание – за то, что в прошедший понедельник, во время подготовительных к стрельбе упражнений, его скатанная шинель была обвязана не ременным трынчиком, который у него украли, а веревочкой. Дневалит он через день вот уже третий раз, и все ему достаются самые тяжелые ночные часы.

Меркулов плохой фронтовик. Нельзя сказать, чтобы он был ленив и нестарателен. Просто ему не дается сложное искусство чисто делать ружейные приемы, вытягивать при маршировке вниз носок ноги, «подаваясь всем корпусом вперед», и в должной степени «затаивать дыхание в момент спуска ударника» при стрельбе. Тем не менее он известен за солдата серьезного и обстоятельного: в одежде наблюдает опрятность; сквернословит сравнительно мало; водку пьет только казенную, какую дают по большим праздникам, а в свободное время медленно и добросовестно тачает сапоги, – не более пары в месяц, но зато какие сапоги! – огромные, тяжеловесные, не знающие износа меркуловские сапоги.

Лицо у него шершавое, серое, в один тон с шинелью, с оттенком той грязной бледности, которую придает простым лицам воздух казарм, тюрем и госпиталей. Странное и какое-то неуместное впечатление производят на меркуловском лице выпуклые глаза удивительно нежного и чистого цвета добрые, детские и до того ясные, что они кажутся сияющими. Губы у Меркулова простодушные, толстые, особенно верхняя, над которой точно прилизан редкий бурый пушок.

В казарме гомон. Четыре длинных, сквозных комнаты еле освещены коптящим красноватым светом четырех жестяных ночников, висящих в каждом взводе у

стены ручкой на гвоздике. Посередине комнат тянутся в два ряда сплошные нары, покрытые сверху сенниками. Стены выбелены известкой, а снизу выкрашены коричневой масляной краской. Вдоль стен стоят в длинных деревянных стойках красивыми, стройными рядами ружья; над ними висят в рамках олеографии и гравюры, изображающие в грубом, наглядном виде всю солдатскую науку.

Меркулов медленно ходит из взвода в взвод. Ему скучно, хочется спать, и он чувствует зависть ко всем этим людям, которые копошатся, галдят и хохочут в тяжелой мгле казармы. У всех у них впереди так много часов сна, что они не боятся отнять у него несколько минут. Но всего томительнее, всего неприятнее – сознание, что через полчаса вся рота замолкнет, уснет, и только Меркулов остается бодрствовать – тоскующий и забытый, одинокий среди ста человек, перенесенных какою-то нездешней, таинственной силой в неведомый мир.

Во втором взводе тесно сбились в кучу около десяти или двенадцати солдатиков. Они так близко расселись и разлеглись друг возле друга на нарах, что сразу не разберешь, к каким головам и спинам принадлежат какие руки и ноги. В двух-трех местах то и дело вспыхивают красные огоньки «цигарок». В самой середине сидит, поджав под себя ноги, старый солдат За-

мошников, – «дядька Замошников», как его называет вся рота. Замошников маленький, худой, подвижной солдатик, общий любимец, запевала и добровольный увеселитель. Мерно покачиваясь взад и вперед и потирая колени ладонями, он рассказывает сказку, держа все время пониженного, медленного и как будто бы недоумевающего тона. Его слушают в сосредоточенном молчании. Изредка один из присутствующих, захваченный интересом рассказа, вдруг вставит, не вытерпев, торопливое, восхищенно-ругательное восклицание.

Меркулов останавливается подле кучки и равнодушно прислушивается.

– И посылает этта ему турецкий салтан большущую бочку мака и пишет ему письмо: «Ваше приасхадительство, славный и храбрый генерал Скобелев! Даю я тебе три дня и три ночи строку, чтобы ты пересчитал весь этот мак до единого зерна. И сколько, значит, ты зерен насчитаешь, столько у меня в моем войске есть солдатов». Прочитал генерал Скобелев салтаново письмо и вовсе даже от этого не испужался, а только, наоборот, посылает обратно турецкому салтану горсточку стручкового перцу. «У меня, говорит, солдатов куда против твоего меньше, всего-навсего одна малая горстка, а ну-кася, попробуй-ка, – раскуси!..»

– Ловко повернул! – одобряет голос за спиной За-

мошникова.

Другие слушатели сдержанно смеются.

– Да... На-ка, говорит, раскуси, попробуй! – повторяет Замошников, жалея расстаться с выигрышным местом. – Салтан-то ему, значит, бочку мака, а он ему горсть перца: «На-кась, говорит, выкуси!» Это Скобелев-то наш, салтану-то турецкому. «У меня, говорит, солдатов всего одна горсточка, а попробуй-ка, поди-ка, раскуси!..»

– Вся, что ли, сказка-то, дядька Замошников? – робко спрашивает какой-то нетерпеливый слушатель.

– А ты... погоди, братец мой, – досадливо замечает ему Замошников. – Ты не подталдыкивай... Сказку сказывать – это, брат, тоже не блох ловить... Да... – Затем, помолчав немного и успокоившись, он продолжает сказку: Да... «Хоть и малая, говорит, горсточка, а поди-ка, раскуси...» Прочитал турецкий салтан скобелевское письмо и опять ему пишет: «Убери ты подобру-поздорову свое храброе войско из моей турецкой земли... А ежели ты своего храброго войска убрать не захочешь, то дам я своим солдатам по чарке водки, солдаты мои от этого рассердятся и выгонят в три дня всю твою армию из Турции». А Скобелев ему сейчас ответ: «Великий и славный турецкий салтан, как это смеешь ты, турецкая твоя морда, мне такие слова писать? Нашел чем тращать: „По чарке водки дам!“

А я вот своим солдатушкам три дня лопать ничего не дам, и они тебя, распротакого-то сына, со всем твоим войском живьем сожрут и назад не вернут, так ты без вести и пропадешь, собачья образина, свиное твое ухо!..» Как услышал эти слова турецкий салтан, сильно он, братцы мои, в ту пору испужался и сейчас подался на замиренье. «Ну, говорит, тебя совсем к богу и с войском с твоим. Вот тебе мельонт рублен денег, и отвяжись ты от меня, пожалуйста...»

Замошников молчит с минуту и потом добавляет коротко:

– Вся сказка, ребята.

Слушатели оживляются, и кучка начинает шевелиться. Со всех сторон раздается одобрительная ругань.

– Важно он яво, братцы!..

– Н-да-а, саданул... нечего сказать...

– На что лучше... Я, грит, своим солдатам три дни есть не дам, так ени тебя, мерзавца, живьем слопают. Как он ему сказал, дядька Замошников? А, дядька Замошников?

Замошников повторяет ту же самую фразу слово в слово.

– Куда ж против наших! – подхватывают хвастливые голоса.

– Ку-у-да-а!.. Против руцких-то!



– Ежели против наших, так это еще, брат, погодить надоть.

– Да еще и как погодить-то... Это такое дело, что надо благословимшись да каши сперва поемши.

Замошников в это время тянется к огоньку сигарки, то вспыхивающему, то погасающему подле него, и говорит небрежно:

– Дай-кась, братец, потянуть разочек. Чтой-то смерть покурить хоцца.

Он несколько раз подряд торопливо и глубоко затягивается, пуская дым из носа двумя прямыми, сильными струями. Лицо его, особенно подбородок и губы, попеременно то озаряются красным блеском, то мгновенно тухнут, пропадают в темноте. Чья-то рука протягивается к его рту за сигаркой, и чей-то голос просит:

– А ну-ка, дядька Замошников, оставь, я покурю немножко.

– Кто покурить, а кто и поплюить, – отрезает Замошников.

Солдаты смеются: «Уж этот Замошников... всегда такое ввернет!..» Поощренный Замошников продолжает шутить:

– Знаешь, брат, как нонче курят? Табачок ваш, бумажку дашь, вот и покурим.

Однако он тут же сует в протянутую руку окуроч,

сплевывает на сторону, перегнувшись через чью-то спину, и говорит:

– А вот тоже, ребята, знаю я еще одну историю. Может, кто слышал из вас? Про то, как солдат прицепил себе железные когти и лазил к царевне на башню? Если знаете, так я лучше и сказывать не буду.

– Не знаем... Нет, нет... Валяй, дядька Замошников. Никто не слыхал.

– Начинается это так, что жил-был на свете солдат Яшка Медная Пряжка. И был, братцы мои, этот солдат удивительный человек на свете...

Меркулов вяло отходит прочь. В другое время он сам с живым удовольствием слушал бы сказки Замошникова, но теперь ему даже кажется странным, как это другие могут слушать с таким интересом вещи незанимательные, скучные и, главное, заведомо вымышленные.

«Ишь, черти, и ко сну их не манит, – злобно думает Меркулов. – Будут себе целую ночь дрыхнуть...»

Он подходит к окну. Стекла изнутри запотели, и по ним то и дело быстро и извилисто сбегают капли. Меркулов протирает рукавом шинели стекло, прижимается к нему лбом и загораживает глаза с обеих сторон ладонями, чтобы не мешало отражение ночника. На дворе осенняя, дождливая, черная ночь. Свет, падающий из окна, лежит на земле косым, вытянутым че-

тырехугольником, и видно, как в этой светлой полосе морщится и рябится от дождя большая лужа. Далеко впереди и внизу, точно на краю света, чуть-чуть блестя огни местечка. Больше ничего не различает глаз в темноте ненастной ночи.

Постояв немного у окна, Меркулов идет дальше, в четвертый взвод, обходит его и медленно бредет по другой стороне казармы, вдоль окон. На самом конце нар, по бокам угла, уселись, спустив ноги, двое солдат Панчук и Коваль. Между ними стоит маленький деревянный сундучок с замком на кольцах. На сундуке лежит цельный хлеб, накроенный толстыми ломтями во всю длину, пяток луковиц, кусок свиного сала и крупная серая соль в чистой тряпке. Панчук и Коваль связаны между собою странной, молчаливой дружбой, основанной на необычайном обжорстве. Им не хватает казенного хлеба по три фунта на человека; они прикупают его каждый день у товарищей и всегда поедают его вместе, обыкновенно вечером, не обмениваясь при этом ни единым словом. Оба они из зажиточных семейств и ежемесячно получают из дому по рублю и даже по два...

Каждый из них поочередно узким ножиком, источенным до того, что его острие даже вогнулось внутрь, отрезает несколько тонких, как папиросная бумага, кусочков сала и аккуратно распластывает их между дву-

мя ломтями хлеба, круто посоленными с обеих Сторон. Потом они начинают молча и медленно поедать эти огромные бутерброды, лениво болтая спущенными вниз ногами.

Меркулов останавливается против них и тупо смотрит, как они едят. Вид сала вызывает у него под языком острую слюну, но просить он не решается: все равно ему ответят отказом и хлесткой насмешкой. Однако он все-таки произносит срывающимся голосом, в котором слышится почти просьба:

– Хлеб да соль, ребята.

– Ем, да свой, а ты рядом постой, – отвечает совершенно серьезно Коваль и, не глядя на Меркулова, обчищает ножом от коричневой шелухи луковицу, режет ее на четыре части, обмакивает одну четверть в соль и жует ее с сочным хрустением. Панчук ничего не говорит, но смотрит прямо в лицо Меркулову тупыми, сонными, неподвижными глазами. Он громко чавкает, и на его массивных скулах, под обтягивающей их кожей, напрягаются и ходят связки челюстных мускулов.

Несколько минут все трое молчат. Наконец Панчук с трудом проглатывает большой кусок и сдавленным голосом равнодушно спрашивает:

– Что, брат, дневалишь?

Он и без того отлично знает, что Меркулов дневалит, и предложил этот вопрос ни с того ни с сего,

без всякого интереса; просто так себе, спросилось. И Меркулов так же равнодушно испускает, вместо ответа, длинное ругательство, неизвестно кому адресованное: двум ли солдатам, которые имеют возможность объедаться хлебом с салом, или начальству, заставившему Меркулова не в очередь дневалить.

Он отходит от приятелей, продолжающих свою молчаливую, медленную еду, и бредет дальше. Сырая казарма быстро нагревается человеческим дыханием: Меркулову даже становится жарко в его шинели. Несколько раз кряду он обходит все взводы, со скукой прислушиваясь к разговору, громкому смеху, руготне и пению, долго не смолкающим в роте. Ничего его не смешит и не занимает, но в душе ему сильно хочется, чтобы еще долго, долго, хоть всю ночь, не затихал этот шум, чтобы только ему, Меркулову, не оставаться одному в мутной тишине спящей казармы.

В конце первого взвода стоит отдельная нара унтер-офицера Евдокима Ивановича Ноги, ближайшего начальника Меркулова. Евдоким Иванович большой франт, бабник, говорун и человек зажиточный. Его нара поверх сенника покрыта толстым ватным одеялом, сшитым из множества разноцветных квадратиков и треугольников; в головах к деревянной спинке прилеплено хлебом маленькое, круглое, треснутое посередине зеркальце в жестяной оправе.

Евдоким Иванович без мундира и босой лежит сверх своего великолепного одеяла на спине, заложив за голову руки и задрав кверху ноги, из которых одна упирается пяткой в стену, а другая через нее перекинута. Из угла рта торчит у него камышовый мундштук со вставленной в него дымящейся «кручонкой». Перед унтер-офицером в понурой, печальной и покорной позе большой обезьяны стоит рядовой его взвода Шангирей Камафутдинов – бледный, грязный, глуповатый татарин, не выучивший за три года своей службы почти ни одного русского слова, – посмешище всей роты, ужас и позор инспекторских смотров.

Ноге не спится, и, пользуясь минутой, он «ренегат» с Камафутдиновым «словесность». У татарина от умственного напряжения виски и конец носа покрылись мелкими каплями пота. Время от времени он вытаскивает из кармана грязную ветошку и сильно трет ею свои зараженные трахомой, воспаленные, распухшие, гноящиеся глаза.

– Идиот турецкий! Морда! Что я тебя спрашиваю? Ну! Что я тебя спрашиваю, идол? – кипятится Нога.

Камафутдинов молчит.

– Эфиоп неумытый! Как твое ружье называется? Говори, как твое ружье называется, скотина казанская!

Камафутдинов трет свои больные глаза, переминается с ноги на ногу, но продолжает молчать.

– Ах, ты!.. Нет с тобой никакой моей возможности!  
Ну, повторяй за мной... – И Нога произносит, громко отчеканивая каждый слог: Ма-ло-ка-ли-бер-на-я, скоро-стрель-на-я...

– Малякарли... карасти... – испуганно и торопливо повторяет Камафутдинов.

– Дура! Не спеши... Еще раз: малокалиберная, скорострельная...

– Малякяли... скарлястиль...

– У-у! Образина татарская! – И Нога делает на него злобно искаженную физиономию. – Ну, черт с тобой...  
Дальше повторяй: пехотная винтовка...

– Пихоть бинтофк...

– Со скользящим затвором...

– Заскальзяситвором...

– Системы Бердана, номер второй...

– Сеем бирдан, номер тарой.

– Так... Ну, катай сначала.

Татарин вяло мнется и опять лезет в карман за тряпкой.

– Ну же! Черт!

– К... к... кали... калибри... заскальзи... – Камафутдинов наугад подбирает первые попадающиеся ему звуки.

– Заскальзи-и! – перебивает его унтер-офицер. – Сам ты – заскальзи. Вставать мне только не хочется,

а то бы я тебе выутюжил морду-то! Весь фасон ты у меня во взводе нарушаешь!.. Ты думаешь, с меня из-за тебя не зиськуется? Строго, брат, зиськуется... Ну, повторяй опять: малокалиберная, скорострельная...

В конце первого взвода, близ железной печки, разлеглись на нарах головами друг к другу трое старых солдат и поют вполголоса, но с большим чувством и с видимым удовольствием вольную, «свою», деревенскую песню. Первый голос высоким, нежным фальцетом выводит грустную мелодию, небрежно выговаривая слова и вставляя в них для певучести лишние гласные. Другой певец старательно и бережно вторит ему в терцию сиплым, по приятным и сочным тенорком, немного в нос. Третий поет в октаву с первым глухим и невыразительным голосом; в иных местах он нарочно молчит, пропускает два такта и вдруг сразу подхватывает и догоняет товарищей в своеобразной фуге.

Прощай, радость моя и покой,  
Слышу, уезжает от меня милой.  
Ах, намы должно  
С та-або-ой... —

согласно и красиво вытягивают первые голоса, а третий, отставший от них после слова «должно», вдруг присоединяется к ним решительным, крепким



подхватом:

С тобой расстаться.

И затем все трое поют вместе:

Тебя мне больше не видать,

Темною ночью вместе не гулять.

Закончив куплет, голос, певший мелодию, вдруг берет страшно высокую ноту и долго-долго тянет ее, широко раскрыв при этом рот, зажмурив глаза и наморщив от усилия нос. Потом, сразу оборвав, точно отбросив эту ноту, он делает маленькую паузу, откашливается и начинает снова:

Ахы, темною ночикой

Мне-е не сыпится,

Сама я не знаю, по-оче-ему...

– Сударь, почему! – ввертывает вдруг третий уверенным речитативом, и опять все втроем продолжают:

Ах, буду помнить я

Твои ласковые взоры,

Ваш веселый разговор

Песня эта знакома Меркулову еще с деревни, и поэтому он слушает ее очень внимательно. Ему ка-

жется, что хорошо было бы теперь лежать раздетым, укрывшись с головой шинелью, и думать про деревню и про своих, думать до тех пор, пока сон тихо и ласково не заведет ему глаз.

Певцы вдруг замолкают. Меркулов долго дожидается, чтобы они опять запели; ему нравится неопределенная грусть и жалость к самому себе, которую всегда вызывают в нем печальные мотивы. Но солдаты лежат молча на животах, головами друг к другу: должно быть, заунывная песня и на них навеяла молчаливую тоску. Меркулов глубоко вздыхает, долго скребет под шинелью зачесавшуюся грудь, сделав при этом страдальческое лицо, и медленно отходит от певцов.

Казарма затихает постепенно. Только во втором взводе слышатся то и дело взрывы буйного хохота. Замошников уже окончил историю про солдата с железными когтями и теперь начинает «приставлять». Он сам – и актер и импровизатор. Его любимый номер, который он сейчас и разыгрывает, – это полковой смотр, производимый строгим генералом Замошниковым. Здесь он является поочередно и толстым генералом с одышкой, и полковым командиром, и штабс-капитаном Глазуновым, и фельдфебелем Тарасом Гавриловичем, и старухой хохлушкой, которая только что пришла из деревни и «восемнадцать лит москалив не бачила», и кривоногим, косым рядовым

Твердохлебом, и плачущим ребенком, и сердитой барыней с собачкой, и татаринном Камафутдиновым, и целым батальоном солдат, и музыкой, и полковым врачом. Наверно, каждый из слушателей не менее десяти раз присутствовал на «приставлениях» Замошников, но интерес вовсе не ослабевает от этого, тем более что Замошников всегда наново разукрашивает свои диалоги бойкими рифмами и то и дело загибает поговорки, одна другой неожиданней и непристойней... Замочников ведет сцену, стоя в проходе между нарами и окном, зрители расселись и разлеглись на нарах.

– Муз-зыканы, по мест-а-а-ам! – командует Замошников хриплым, нарочно задушенным голосом, преувеличенно разевая рот и трясая закинутой назад головой: он, конечно, боится кричать громко и этими приемами изображает до известной степени оглушительность команды полкового командира. – По-олк! Слуша-аай! На крау-у-ул! Музыка, играй... Трам, папим, тати-ра-рам...

Замошников трубит марш, раздувая щеки и хлопая себя по ним ладонями, как по барабану. Затем он говорит бойкой скороговоркой:

– Вот едет на белом коне храбрый генерал Замошников. Смотрит соколом, грудь колесом. Весь мундир в орденах, посмотришь – прямо тебе береть страх.

«Здорово, молодцы, славные нижнеломовцы!» – «Здра-жела-вассс!» «Молодцы, ребята!» – «Ради стараться, вассс!..» Сейчас полковой к нему с рапортом: «Вашему приасходительству, славному и храброму генералу Замошникову имею честь лепортовать... В Нижнеломовском развеселом полке все обстоит благополучно. По списку солдат целая тыща. Сто человек в лазарете валяется, сто по кабакам шатается, да сто в бегах обретається. Пятьдесят под забором лежат, пятьдесят под арестом сидят, а пятьдесят пьяные – на ногах не стоят... Двести по миру пошли побираться, а другие и совсем никуда не годятся. Не стрижены, не бриты, морды у них не умыты, под глазами синяки подбиты. Целый год ничего не ели, не пили, а только все по девкам ходили. Нет нашего полка на свете веселее!» – «Молодцы, ребята, спасибо, красавцы!» – «Ради стараться, вассс...» – «Претензий не имеете?» – «Никак нет, вассс...» – «Хлеба много едите?» – «Точно так, вассс... очинно много: как едим, так за ушами трещить, а съедим, так в брюхе пишшить». – «Молодцы, братцы. Так и надоть. Пой песни, хоть тресни, гляди орлом, а есть не проси. Выдать каждому солдатик по манерке водки, да по фунту табаку, да деньгами полтинник». – «Покорнейше благодарим, вассс...»

А тут с-час полковой вперед выезжает. «По циркуриальному маршу, поротно, на двухвзводную ди-

станцию... Первая рота шагом!» Музыка. Ту-ру-рум ту-рум... Идут – ать, два! ать, два... Левой!.. Левой!.. Вдруг: «Сто-ой! Наза-ад! Отстави-ить!» – «Что т-такое за история?» – «Это у вас какая рота, полковник?» – «Восьмая нарезная, вассс...» – «А это что за морда кривая стоит в строю?» – «Рядовой Твердохлеб, вассс...» – «Прогнать со смотра и всыпать пятьдесят...»

Солдаты хохочут, и всех громче рядовой Твердохлеб, которого со всех сторон толкают под бока локтями. Дальше обыкновенно следует рассказ о том, как после смотра генерал Замошников обедает у полкового командира.

– «Вам борщу или супу, васс?..» – «Мне бы того и другого... поболее...» – «А водочки, васс?..» – «Гм... можно и водочки... стаканчик». Затем идет изысканный разговор с полковничьей дочкой: «Барышня, угостите поцелуйчиком». – «Ах, что вы-с... нешто это можно при папашах?.. Они увидают...» – «Нельзя, значит?» – «Аххх... никак невозможно». – «В таком разе предположите ручку». – «Ручку извольте...»

Но Замошников не успевает докончить «приставленья». Внезапно растворяется дверь казармы, и в просвете показывается фигура фельдфебеля Тараса Гавриловича, в одном нижнем белье, в туфлях на босу ногу и в очках.

– Чего вы гогочете, словно жеребцы на овес? – раздается его сердитый старческий окрик. – Когда вы утихомиритесь?! Вот я вас всех сейчас по мордам раскассирую. Ну!.. Живо расходись!..

Солдаты медленно, неохотно расходятся по своим местам. Необыкновенно быстро, в каких-нибудь пять минут, казарма совсем стихает. Где-то среди нар слышится торопливый шепот молитвы: «Господи Сусе Христе... Сыне божий, помилуй нас... Пресвятая троица, помилуй нас». Где-то звучно падают один за другим на асфальтовый пол сброшенные с ног сапоги. Кто-то кашляет глухо, с надсадой, по-овечьи... Жизнь сразу прекратилась.

Меркулов продолжает ходить по казарме. Он идет вдоль стены, машинально обдирая ногтем большого пальца масляную краску. Солдаты лежат на нарах, покрытые сверху серыми шинелями, тесно прижавшись друг к другу. При тусклом, коптящем свете ночников очертания спящих фигур теряют резкость, сливаются, и кажется, будто это лежат не люди, а серые, однообразные и неподвижные вороха шинелей.

От нечего делать Меркулов присматривается к спящим. Один лежит на спине, подняв и согнув под острым углом ноги; он полураскрыл рот и дышит глубоко и ровно; с лица его не сходит спокойное, глупое выражение. Другой спит на животе, уткнувшись голо-

вой в сгиб левой руки, между тем как правая протянута вдоль тела и выворочена ладонью наружу. Голые ноги высунулись из-под короткой шинели; икры на них напряжились, а концы пальцев сведены, как в судороге. Вот скорчился солдат Естифеев, земляк Меркулова и сосед его по строю. Кажется, нарочно не примешь такой неестественной позы: голова глубоко засунута под кумачовую засаленную подушку, ноги прижаты чуть не к самому подбородку. Должно быть, кровь прилила Естифееву к голове, потому что из-под подушки раздаются медленные, мучительные стоны.

Меркулову жутко и тягостно. Всего несколько минут назад все эти сто человек ходили, смеялись, разговаривали, бранились... и вот они, все до одного, лежат, неподвижные, стонущие и храпящие, объятые и унесенные какой-то *другой*, непонятной, таинственной жизнью. Для каждого из них уже нет более ни военной службы с ее тягостями и напускным весельем, ни скучного мрака казармы, ни соседа, беспокойно мечущегося у него на груди головой, ни одиноко бродящего со своей тоской Меркулова. И темный ужас заползает понемногу в сердце Меркулова, съеживает кожу на его черепе и волной холодных мурашек бежит по его спине.

Он останавливается против часов, висящих в третьем взводе под ночником, и долго, пристально смот-

рит на них. Меркулов плохо разбирает время, но он знает (это ему терпеливо и пространно объяснял сегодня дежурный), что когда большая стрелка станет прямо вверх, а маленькая почти перпендикулярно к ней вправо, то тогда надо ему сменяться. Это обыкновенные двухрублевые часы с белым квадратным циферблатом, разрисованным по углам розанами, с медными гирьками, к одной из которых подвязаны веревкой камень и железный болт, с избитым от времени, точно изжеванным, медным маятником.

– Ти-та, ти-та, – отсчитывает среди тишины маятник, и Меркулов внимательно прислушивается к его ходу. Первый удар слабее и чище, а второй звучит глухо и выбивается с трудом, как будто бы его что-то задерживает внутри, и слышно, как между обоими ударами в середине часов передергивается какая-то цепочка. Ти-к-та, ти-к-та... И Меркулов шепчет вслед за ходом часов: «Тягота, тягота...» Странная духовная связь есть между этими часами и ночным бодрствованием Меркулова: точно оба они – одни в казарме – осуждены какой-то жестокой силой тоскливо отсчитывать секунды и томиться долгим одиночеством. «Тягота, тягота», – монотонно и устало шепчет маятник. В казарме скучно и жутко, ночники еле светят, в углах громоздятся безобразные тени, и Меркулов сонно шепчет вместе с маятником: «Тя-го-та»...



Потом он идет в дальний угол первого взвода и садится между печкой и ружейной пирамидой на высоком табурете с залосненным и почерневшим от времени сиденьем. От железной печки идет легкое тепло вместе с запахом угара. Меркулов глубоко засовывает руки в рукава и задумывается.

Вспоминается ему письмо, полученное третьего дня «с родины». Это письмо читали ему вслух: сначала взводный унтер-офицер, потом ротный писарь, потом все грамотные земляки, так что текст письма Меркулов успел выучить наизусть и даже подсказывал чтецам неразборчивые места.

*«Письмо солдатское, пехотное, очень нужное. Письмо пущено с родины 20 сентября настоящего года. Село Мокрые Верхи, от отца вашего.*

*Любезный сынок наш Лука Моисеевич!*

*Во первых строках сего письма посылаем тебе родительское наше благословение и желаем от господа бога скорого и счастливого успеха в делах ваших и уведомляем вас, что мы с матушкой вашей Лукерьей Трофимовной, слава богу, живы и здоровы, чего и вам желаем. Еще кланяется вам любящая супруга Татьяна Ивановна и посылает свое искренно любящее супружеское почтение, с любовью низкий поклон и желает вам от бога всего хорошего. Еще*

*кланяется тебе любезный тостечик твой Иван Федосеевич с супругой и с детками в желает вам успеха в делах ваших. Еще кланяется вам братец ваш Николай Моисеевич с супругой и с детками и с низким поклоном желает вам от бога всего хорошего.*

*А у нас все, слава богу, благополучно, чего и тебе от всей души желаем. В деревне у нас все по-старому. На пречистую сгорел у нас Николай Иванов с большой дороги. Беспременно не кто, как Матюшка, спалил; так и урядник сказал. Милый Лукаша, прошу я тебя, пропиши пояснее, я в вашем письме ничего не понял, потому что плохо писано, никто не может прочитать, и пропиши, кто ее писал и кто писал адрес, нельзя понять, чья это рука писала, но приблизительно вы пишете такую чушь, что не можно и верить такой эрунде. За сим остаюсь любящий отец М.Меркулов, а за него, безграмотного, расписался Ананий Климов».*

– Ах, беда, беда, – шепчет Меркулов и при этом качает головой и горестно прищелкивает языком. Думает он о том, что еще два года с лишком осталось ему «сполнять долг отечества», о том, как трудно и тяжело жить на чужой стороне, думает и о своей жене Татьяне Ивановне. «Бабочка она молодая, веселая, балованная. Тоже поди нелегко жить четыре-то года без мужа, в чужой семье... Солдатка... Известно, ка-

кие они, солдатки-то эти самые... Вот поручик Забиякин всегда смеются... „Ты женатый?“ – спросит. „Точно так, вашбродь, женатый“. – „Ну, так погоди, погоди, говорит, воротись со службы – в доме новые работники придут“». Гм!.. Хорошо ему смеяться. Толстый да гладкий... Встал утречком – чайку с булочкой напился... денщик ему сапожки чистые подал. Вышел на ученье – знай себе папиросочки поपालивает. А ты вот сиди целую ночь... – Эх, беда, беда, беда-а-а, – шепчет Меркулов, оканчивая последнее слово длинным, глубоким зевком, от которого у него даже слезы выступают на глазах.

Никогда еще Меркулов не чувствовал себя таким покинутым, затерянным, жалким... Хочется ему поговорить с каким-нибудь добрым и молчаливым человеком, объяснить ему жалостными словами все свои горести и заботы, и чтобы этот добрый и молчаливый человек слушал внимательно, все бы понимал и все-му сочувствовал... Да где же его найдешь, этого человека? Каждому до себя, до своей заботушки. «Горько, братец мой», – думает, покачивая головой, Меркулов и вслед за тем произносит вслух, протяжным, певучим голосом:

– О-ох, и го-о-орько...

И вот понемножку, вполголоса, Меркулов начинает напевать. Сначала в его песне почти нет слов. Выхо-

дит что-то заунывное, печальное и бестолковое, но размягчающее и приятно шевелящее душу: «Э-э-а-ах ты-ы, да э-э-ох го-о-орько-о...» Потом начинают подбираться и слова – все такие хорошие, трогательные слова:

О-ох, да ты моя матушка,  
Э-ох, да моя родименька-я-а...

Тут Меркулов окончательно проникается глубокой жалостью к бедному, забытому солдату Луке Меркулову. Кормят его впроголодь, наряжают не в очередь дневалить, взводный его ругает, отделенный ругает, – иной раз и кулаком ткнет в зубы, – ученье тяжелое, трудное... Долго ли заболеть, руку ли, ногу сломать, от глазной болезни ослепнуть, – вон у половины роты глаза гноятся? А то, может, и умереть на чужой стороне придется... Что-то горестное подступает Меркулову к самой глотке, что-то начинает слегка пощипывать ему веки, а в груди под ложечкой он ощущает прилив искусственной, замирающей, томной, сладковатой тоски. И еще больше трогают его печальные слова импровизированной песни, еще нежнее и прекраснее кажется ему свой собственный мотив:

Ох ты, моя мамынька,  
Положи ж ты мне во гро-оп,

Положи во сосновый да во гроп,  
Во сосновый гроп, да во осиновый...

Воздух в казарме сгустился и стал невыносимо тяжел. Точно в бане, сквозь завесу пара, слабыми, расплывчатыми пятнами светят ночники, у которых стекла почернели сверху от копоти. Меркулов сидит, сгорбившись, переплетя ноги за табуретную перекладину и глубоко вдвинув руки в рукава шинели. Тесно, жарко и неловко ему в шинели, – воротник трет затылок, крючки давят горло, и спать ему хочется страшно. Веки у него точно распухли и зудят, в ушах стоит какой-то глухой, непрерывный шум, а где-то внутри, не то в груди, не то в животе все не проходит тягучая, приторная физическая истома. Меркулов не хочет поддаваться сну, но временами что-то мягкое и властное приятно сжимает его голову; тогда веки вдруг задрожат и сомкнутся с усталой резью, приторная истома сразу пропадает, и уже нет больше ни казармы, ни длинной ночи, и на несколько секунд Меркулову легко и покойно до блаженства. Он сам не замечает в то время, что голова его короткими, внезапными толчками падает все ниже и ниже, и вдруг... сильно качнувшись всем телом вперед, он с испугом открывает глаза, выпрямляется, встряхивает головой, и опять вступает ему в грудь приторная, сосущая истома бессонья.

А память Меркулова в эти короткие секунды неожиданной полудремоты все не может оторваться от деревни, и приятно ему и занимательно, что о чем бы он ни вспомнил, так сейчас же это и видит перед глазами, – так ярко, отчетливо и красиво видит, как никогда не увидишь наяву. Вот его старый, белый, весь усеянный «гречкой» мерин. Стоит он на зеленом выгоне со своими согнутыми передними ногами, с торчащими костяшками на крестце, с выступающими резко на боках ребрами. Голова его уныло и неподвижно опущена вниз, дряблая нижняя губа, с редкими, прямыми и длинными волосами, отвисла, глаза, цвета линиялой бирюзы, с белыми ресницами, смотрят тупо и удивленно.

А тут, сейчас же за выгоном, идет проезжая широкая дорога. И кажется Меркулову, что теперь – теплый вечер ранней весны и что вся дорога, черная от грязи, изборождена следами копыт, а в глубоких колеях стоит вода, розовая и янтарная от вечерней зари. Пересекая дорогу, вьется из-под бревенчатого мостка узкая речонка, точно сжатая в невысоких, но крутых изумрудно-зеленых берегах, гладкая, как зеркало, и уже чуть-чуть подернутая вдали легким туманом. Верно и резко отразились в ней вниз верхушками прибрежные круглые, покрытые желто-зеленым пухом ветлы и самые берега, которые кажутся в воде еще свежей,

еще изумрудной. А вот вдалеке на ясном небе стройно и четко рисуется колокольня церкви, деревянная, белая, с розовыми продольными полосами и с крутой зеленой крышей. Сейчас же рядом с церковью и меркуловский огород: вон даже видно покривившееся набок и точно падающее вперед чучело в старом отцовском картузе, с растопыренными рукавами, отрепанными на концах, навсегда застывшее в решительной и напряженной позе.

И кажется Меркулову, что он сам едет по этой черной, грязной дороге, возвращаясь с пашни. Он боком сидит на белом мерине, мотая спущенными вниз ногами и ерзая при каждом шаге лошади назад и вперед на ее хребте. Ноги лошади звучно чмокают, вылезая из грязи. Легкий ветерок чуть задевает лицо Меркулова, принося с собой глубокий, свежий аромат земли, еще не высохшей после снега, и хорошо, радостно на душе у Меркулова. Устал он, выбился из сил, вздрав за нынешний день чуть ли не целую десятину земли; ноет у него все тело, ломит руки, трудно разгибать и сгибать спину, а он, небрежно болтая ногами, знай заливается во всю грудь:

Вы, сады-ы ль, мои са-ады!..

Ах, как хорошо ему будет сейчас, когда он уляжет-

ся в прохладной риге, на соломе, вытянув и свободно разбросав натруженные руки и ноги!..

Голова Меркулова опять падает вниз, чуть не касаясь колен, и опять Меркулов просыпается с приторным, томящим ощущением в груди. «Никак, я вздремал? – шепчет он в удивлении. – Вот так штука!» Ему страшно жаль только что виденной черной весенней дороги, запаха свежей земли и нарядного отражения прибрежных ветел в гладком зеркале речки. Но он боится спать и, чтобы ободриться, опять начинает ходить по казарме. Ноги его замлели от долгого сидения, и при первых шагах он совсем не чувствует их.

Проходя мимо часов, Меркулов смотрит на циферблат. Большая стрелка уперлась прямо вверх, а маленькая отошла от нее чуть-чуть вправо. «После полуночи», – соображает Меркулов. Он сильно зевает, быстрым движением несколько раз кряду крестит рот и бормочет что-то вроде молитвы: «Господи... царица небесная... еще небось часа два с половиной осталось... Святые угодники... Петра, Алексея, Ионы, Филиппа... добропоживших отцов и братии наших...»

Керосин догорает в ночниках, и в казарме становится совсем темно. Позы у спящих мучительно напряженные, неестественные. Должно быть, у всех на жестких сенниках обомлели руки и затекли головы. Отовсюду, со всех сторон, раздаются жалобные сто-



ны, глубокие вздохи, нездоровый, захлебывающийся храп. Что-то зловещее, удручающее, таинственное слышится в этих нечеловеческих звуках, идущих среди печального мрака из-под серых, однообразных ворохов...

– На двор выйттить, что ль? – говорит Меркулов самому себе вслух и медленно идет к дверям.

На дворе – густая темень и льет не переставая мелкий, частый дождь. На другом конце двора едва обрисовывается ряд слабо освещенных окон: это казармы шестой и седьмой рот. Дождик глухо барабанит по крыше, стучит в оконные стекла, стучит по меркуловской фуражке. Где-то вблизи вода бежит со звоном и торопливым журчанием из желоба и потом плещется по каким-то камням. Сквозь этот шум Меркулову слышатся порою странные звуки! Точно кто-то идет к нему вдоль казарменной стены, часто и тяжело шлепая по лужам ногами. Меркулов оборачивается в эту сторону и напрягает зрение. Шлепанье тотчас же прекращается. Но едва Меркулов отвернется, как опять начинают шлепать по воде грузные, спешные шаги. «Мерещится!» – решает Меркулов и поднимает кверху голову, подставляя лицо под частые капли... На небе нет ни одной звезды...

Вдруг рядом, в казарме пятой роты, быстро раскрывается наружу входная дверь, и дверной блок пронзи-

тельно взвизгивает на весь двор. На секунду в слабом свете распахнутой двери мелькает фигура солдата в шинели и в шапке. Но дверь тотчас же захлопнулась, увлекаемая снова взвизгнувшим блоком, и в темноте нельзя даже определить ее места. Вышедший из казармы солдат стоит на крыльце; слышно, как он кричит от свежего воздуха и сильно потирает руками одну о другую.

«Тоже дневальный, должно быть», – думает Меркулов, и его страстно тянет подойти к этому бодрствующему, живому человеку, посмотреть на его лицо или хоть послушать его голос.

– Эй, землячок! – окликает Меркулов невидимого в темноте солдата. – А нет ли у вас, землячок, спички?

– Кажись, должны быть, – отвечает с крыльца глухой и сиплый голос. Постой... я сейчас...

И Меркулов слышит, как солдат долго охлопывает себя по карманам и как, наконец, тарахтят в коробке найденные спички.

Оба солдата сходятся на середине между обеими казармами, у колодца, отыскивая друг друга по звуку сапог, шлепающих по мокрой скользкой глине.

– Вот вам спички, – говорит солдат, и так как Меркулов не может сразу найти его протянутой руки, то он слегка погромыхивает коробкой.

Но Меркулову спички вовсе не нужны, – он не ку-

рит, – ему только хотелось хоть минуту побыть около живого человека, не охваченного этой странной, сверхъестественной силой сна.

– Спасибо вам, – говорит Меркулов, – мне только парочку. У меня в казарме есть коробка, да вот спички-то, признаться, вышли.

Оба солдата заходят под высокий навес, устроенный над колодцем. Меркулов для чего-то трогает огромное деревянное колесо, приводящее в движение вал. Колесо жалобно скрипит и делает мягкий размах. Солдаты облакачиваются на верхний сруб колодца и, свесив вниз головы, пристально глядят в зияющую темноту.

– Спать хочется, братец мой, – страсть! – говорит Меркулов и громко зевает.

Зевает тотчас же и другой солдат. Их голоса и зевки глухо, раскатисто и усиленно отдаются в пустоте глубокого колодца.

– Час, должно, первый в начале? – спрашивает нехотя, вялым голосом солдат пятой роты. – Вы с какого года?

По изменившемуся звуку голоса Меркулов догадывается, что солдат повернулся к нему лицом. Повертывается и Меркулов, но в темноте не видит даже фигуры своего собеседника.

– Я с девяностого. А вы?

– И я с девяностого. Вы – тоже орлоцкие?

– Мы – кромские, – отвечает Меркулов. – Наша деревня Мокрые Верхи прозывается. Может, слышали?

– Не... Мы дальние... мы из-под самого Ельца. И скука же, братец ты мой! – Последние слова он произносит вместе с зевком, глухим, нутряным голосом и неразборчиво, так что у него выходит: «ы гугу ы аатец ты мой!»

Оба они замолкают на некоторое время. Солдат из Ельца плюет сквозь зубы прямо в колодец. Проходит около десяти секунд, в течение которых Меркулов с любопытством прислушивается, наклонив голову набок. Вдруг из темноты доносится необычно чистый и ясный – точно удар двух гладких камней друг о друга – звук шлепка.

– И глыбоко же тут! – говорит солдат из Ельца и опять плюет в колодец.

– Грех в воду плевать. Не годится это, – поучительно замечает Меркулов и тотчас же сам плюет, в свою очередь.

Обоих солдат чрезвычайно занимает то, что между плевком и звуком, раздающимся потом из колодца, проходит так много времени.

– А что, ежели туда сигануть? – вдруг спрашивает солдат из Ельца. Небось, покамест долетишь, так об стенки головой изобьешься?

– Как не избиться... Изобьешься, – уверенно отзывается Меркулов. – В лучшем виде изобьешься.

– Бяда! – говорит другой солдат, и Меркулов догадывается, что он качает головой.

Опять наступает долгое молчание, и опять солдаты плюют в колодец. Вдруг Меркулов оживает:

– Вот штука-то была, братец мой! Сижу я сейчас в казарме и того... задремал, должно быть, немножко... И какой мне это... чудной сон приснился.

Ему хочется рассказать свой сон со всей прелестью мелких поэтических подробностей, с чарующим ароматом родной земли и далекой, привычной, любимой жизни. Но у него выходит что-то слишком простое, бледное и неинтересное.

– Вижу я, будто бы я, значит, у себя в деревне. И как будто бы вечер... И все мне сквозь видно... то есть так видно, так видно, точно и не во сне...

– Н-на... это бывает, – равнодушно и небрежно вставляет другой солдат, почесывая щеку.

– А я сам как будто бы еду верхом на лошади... на мерине... Есть у нас такой мерин белый, годов двадцать ему небось будет... Может, уж поколел теперь...

– Лошадь видеть – это означает ложь... Омманет тебя кто-нибудь, замечает солдат.

– А я будто бы еду на мерине, и все мне сквозь видно... Ну вот просто как наяву... То есть такой это чуд-

ный сон мне приставился...

– Н-на... разные сны бывают, – лениво вставляет солдат. – Одначе прощенья просим, – говорит он, подымаясь со сруба. – У нас фитьфебель черт, по ночам шляется. До свиданья вам.

– До свиданьичка... Ночь-то, ночь какая... ах ты, господи боже мой... зги не видно.

Со свежего воздуха казарменная атмосфера в первые минуты кажется просто невыносимой. Воздух весь пропитан тяжелыми человеческими испарениями, едким дымом махорки, кислой затхлостью шинельного сукна и густым запахом невыпеченного хлеба. Люди спят беспокойно, мечутся, стонут и так храпят, как будто бы им каждый вздох стоит громадных усилий. Когда Меркулов проходит третьим взводом, какой-то солдат быстро вскакивает и садится на нарах. Он несколько секунд дико озирается вокруг, точно в недоумении, и долго чавкает губами. Потом он начинает яростно скрести пятерней: сначала голову, затем грудь, и вдруг, точно подкошенный сном, мгновенно падает на бок. Другой деревянным и хриплым голосом быстро бормочет длинную фразу. Меркулов прислушивается с суеверным страхом и разбирает отдельные слова: «Не обрывай... Завяжи узлом!.. Узлом завяжи, говорят тебе!..» В бреде, раздающемся среди ночи, всегда есть что-то ужасное для Меркуло-

ва. Ему кажется, что эти отрывочные, внезапные слова произносит не человек, а кто-то другой, *незримый*, вселившийся в его душу и овладевший ею.

Часы по-прежнему тикают неровно, точно задерживая второй удар, но стрелки их, по-видимому, остались все в том же положении. В голове Меркулова вдруг проносится дикое, нелепое, фантастическое предположение, что, может быть, время совсем остановилось и что целые месяцы, целые года – вечно будет длиться эта ночь; будут так же тяжело дышать и бредить спящие, так же тускло будут светить умирающие ночники, так же равнодушно и медлительно стучать маятник. Это темное, быстрое, непонятное самому Меркулову ощущение переполняет его душу злобой и тоской. И он грозит в пространство крепко сжатым кулаком и шепчет, не раскрывая стиснутых челюстей:

– У-у, дьяволы!.. Погодите ужо-тко!

Он опять садится на то же самое место, между печкой и ружейной пирамидкой, и почти тотчас же мягко и нежно сжимает его виски дремота. «О чем? О чем я теперь? – спрашивает себя шепотом Меркулов, зная, что теперь в его власти вызвать перед глазами что-то очень приятное и знакомое. – Ах да! Деревня... речка... А ну-ка, ну-ка... Ну, пожалуйста, ну прошу тебя...»

И снова змеится в зеленой свежей траве речка, то скрываясь за бархатными холмами, то опять блестя своей зеркальной грудью, снова тянется широкая, черная, изрытая дорога, благоухает талая земля, рожовее вода в полях, ветер с ласковой, теплой улыбкой обвеваает лицо, и снова Меркулов покачивается мерно взад и вперед на остром лошадином хребте, между тем как сзади тащится по дороге соха, переворотная сошником вверх.

Вы, сады-ы ль, мои са-ды!

громко, во всю мочь голоса поет Меркулов и с удовольствием думает о том, как сладко ему будет сейчас вытянуться усталым телом на высоко взбитой охапке соломы. По обеим сторонам дороги идут вспаханные поля, и по ним ходят, степенно переваливаясь с боку на бок, черно-сизые, блестящие грачи. Лягушки в болотцах и лужах кричат дружным, звенящим, оглушительным хором. Тонко пахнет цветущая верба.

Ах, и вы, сады-ы ль, мои са-ды!..

Одно только кажется Меркулову странным: как-то неровно идет сегодня белый мерин. Так и шатает его из стороны в сторону... Ишь как качнуло. Насилу удержался Меркулов, чтобы не полететь с лошади



вперед головой. Нет, надо усесться верхом как следует. Пробует Меркулов перебросить правую ногу на другую сторону, но нога не шевелится, отяжелела – точно к ней кто привязал странную тяжесть. А лошадь так и ходит, так и шатается под ним. «Но, ты, че-ерт! Засну-ул?..»

Меркулов стремглав падает с лошадиной спины, с размаху ударяется лицом об землю и... открывает глаза.

– Черт! Заснул! – кричит над Меркуловым чей-то голос.

Меркулов вскакивает с табуретки и растерянно нащупывает на голове фуражку. Перед ним стоит со взлохмаченной головой, в одном нижнем белье, фельдфебель Тарас Гаврилович. Это он разбудил сейчас Меркулова, ткнув его кулаком в щеку.

– Заснул! – повторяет грозно фельдфебель. – Ах, ты!.. Спать на дневальстве? Я т-тебе покажу, как спать!..

Меркулов отшатывается назад от быстрого удара по скуле, встряхивает головой и хрипло бормочет:

– Намаялся, господин фитьфебель...

– А-а! Намаялся? Так вот, чтобы ты не маялся, будешь еще два раза не в очередь дневалить. Когда сменяешься?

– В два, господин фитьфебель.

– Ах, мерзавец... Ты и смену-то свою проспал! Ну!.. Живо, буди очередного... Марш!..

Фельдфебель уходит. Меркулов бегом бросается к той наре, где спит очередной дневальный – старый солдат Рябошапка. «Спать, спать, спать, спать, – кричит в душе Меркулова какой-то радостный, ликующий голос. – Два лишних дневальства? Это пустяки, это потом, а теперь спать, спать!..»

– Дядька Рябошапка, а дядька Рябошапка, – пугающим шепотом вскрикивает Меркулов, теребя за ногу спящего солдата.

– Мрмр... брайсь...

– Дядька Рябошапка, вставайте... Смена...

– Поди ссе...

Бессонница так измучила Меркулова, что у него больше не хватает терпения будить Рябошапку. Он бежит к своему месту на нарах, торопливо раздевается и протискивается между двумя соседями, которые тотчас же грузно, безжизненно наваливаются на него боками.

На секунду встает в воображении Меркулова колодец, густая темнота ночи, мелкий дождик, журчанье воды, бегущей из желоба, и шлепанье по грязи чьих-то невидимых ног. О! Как там теперь холодно, неприятно и жутко... Все тело, все существо Меркулова проникается блаженной животной радостью. Он

крепко прижимает локти к телу, съеживается, уходит поглубже головой в подушку и шепчет самому себе:

– Ну, а теперь... поскорее – дорогу... дорогу...

Снова перед его глазами отчетливо и красиво изви-  
вается черная изрытая дорога, снова смотрится в зер-  
кало реки нежная зелень ветел... И внезапно Мерку-  
лов летит со страшной, но приятной быстротой в ка-  
кую-то глубокую, мягкую мглу...